

Нового времени», «Риторика и практика реформ XVII–XVIII вв.», «Трансферы: заимствование иностранных образцов и моделей в России XVII–XVIII вв.», «Типы и личности реформаторов XVI–XVIII вв.». Полезным дополнением к статьям стала частичная публикация стенограммы дискуссий, развернувшихся на конференции.

В обсуждении книги приняли участие доктора исторических наук В.Н. Захаров, Д.В. Лисейцев, Л.Ф. Писарькова (все – Институт российской истории РАН); кандидаты исторических наук М.Б. Лавринович (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), М.А. Киселёв (Институт истории и археологии УрО РАН и Институт гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина), С.М. Шамин (Институт российской истории РАН), PhD И.И. Федюкин (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»).

### ***Майя Лавринович: Реформы раннего Нового времени как модель и как историографический конструкт<sup>2</sup>***

Реформы – пожалуй, самый распространенный предмет исследований в исторической науке, особенно в российской. Кроме того, это самая популярная тема для обсуждения в исторической публицистике. Изучать и обсуждать реформы значительно интереснее, чем, к примеру, изучать «застой». Для меня и, думаю, для многих людей моего поколения, вся сознательная жизнь которого, пусть даже немного захватив «застой», совпадает с периодом преобразований, однажды начавшихся, но неизвестно, где, как и когда прекратившихся, «реформа» – нормальное состояние общества, не подразумевающее ничего экстраординарного.

Сейчас мы можем говорить о реформах, как о чём-то происходящем или предстоящем, или как о системе рациональных мер, реализованных в прошлом и имевших предпосылки, цели, результаты и последствия. Но могли ли люди раннего Нового времени оценивать события, свидетелями которых они были, в этих же категориях? Эта проблема под разными углами зрения обсуждается в сборнике статей, изданном по итогам конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Книга посвящена реформам раннего Нового времени в Западной, Центральной и Восточной Европе, от Скандинавии до Пиренейского полуострова и от Англии до России. Хронологически сборник охватывает не только XVII–XVIII вв., но и более ранний период – позднее Средневековье, типологически не относящееся к обсуждаемому периоду, но насыщенное разного рода преобразованиями, о принадлежности которых к категории реформ также можно дискутировать (см., например, статью В.А. Аракчеева «Реформы местного управления в России второй половины XVI в.» в сборнике и критические замечания о понятии «реформа» применительно к созданию приказной системы в Московском государстве, а также к «губной» и «земской» реформам Д.В. Лисейцева в настоящей подборке). При этом центральное место в сборнике закономерно занимает Россия и реформы XVII–XVIII вв. «Обрамление», ко-

---

<sup>2</sup> Материал подготовлен в ходе выполнения проекта «Трансформация элит и институциональная среда в России Нового времени: источники изучения, междисциплинарные подходы, компаративный контекст», в рамках программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2014 г.

торое составляют работы о других странах, помогает увидеть общий контекст и единство общеевропейских процессов.

Опубликованные в сборнике тексты, если рассматривать их как единое целое, дают возможность поразмышлять о том, представляли ли реформы три–четыре века назад столь же заметное современникам и осознаваемое ими явление, каким они, безусловно, были в XIX в. и тем более являются в современной истории. Или же они становятся таковыми, принимают определённые очертания и получают сущностные характеристики лишь ретроспективно, под пером историка? Эта проблема кажется мне существенной частью самого «феномена реформ», вынесенного в заглавие сборника. К сожалению, составителями книги опубликован лишь фрагмент дискуссии по этому поводу, развернувшейся на конференции.

Вопрос о том, насколько восприятие самого явления реформ предопределено языком, хотя и поднимается в сборнике, однако оказывается на периферии обсуждения. Репликой в этой дискуссии может служить публикуемый здесь текст М.А. Киселёва, посвящённый как раз дискурсу о реформах в России раннего Нового времени. Именно в дискурсивном аспекте, на мой взгляд, следует рассматривать также и проблему «особенностей» реформ в России и российского исторического процесса в целом. Д.В. Лисейцев совершенно справедливо указывает, что следует с осторожностью подходить к применению термина «реформа» по отношению к российским политическим реалиям XVI–XVII вв. Однако вряд ли можно согласиться с его утверждением, что поскольку определение «реформы» было разработано для обозначения процессов, характерных для других стран и иного этапа цивилизационного развития, его применимость к российским реалиям до определённого периода сомнительна. Уместными скорее были бы, с одной стороны, пересмотр устоявшихся историографических парадигм, уходящих корнями в XIX в., а с другой – анализ языка эпохи. И та, и другая задачи в сборнике если не решены, то отчётливо сформулированы.

Другая сторона проблемы – роль общества в реформах раннего Нового времени. По словам М.М. Крома, в эту эпоху без него обойтись уже нельзя (с. 175). Вопросы восприятия реформ, адаптации к ним не только языка, но и общества, – ключевые не только в обсуждаемом сборнике, но и в современной историографии вообще. Правда, об обществе как о чём-то целом применительно к России раннего Нового времени говорить достаточно сложно, для обсуждаемой эпохи это понятие ещё очень дискретно. Поэтому когда речь в статьях идет о реакции на реформы, по крайней мере, в России, то в фокусе оказывается скорее небольшой социальный срез или даже его отдельные представители: чиновники, ратные люди, церковники, носящие бороду и «русское платье» горожане и т.д.

Проблема восприятия реформ особенно остро стояла, как известно, в период петровских преобразований. Они вообще занимают весьма существенное место в сборнике. Д.А. Редин, автор статьи «Петровские реформы и их восприятие провинциальным чиновничеством Сибири», обнаруживает в управленческом аппарате первой четверти XVIII в. неизменную устойчивость традиционных семейных групп и приверженность старым управленческим практикам. Более того, чиновники далеко не всегда использовали даже новые наименования должностей, а иногда намеренно их архаизировали (с. 148–149). Никакой «кадровой революции» в первые десятилетия XVIII в., по крайней мере в Сибири, не наблюдалось, хотя, как замечает историк, местное чиновни-

чество представляло собой специфический материал, и безоговорочно распространять выводы на всю страну было бы неправильно. Деятельность уральской и сибирской бюрократии покоилась на традициях приказно-воеводского управления, а сыпавшиеся из столиц указы воспринимались здесь в духе покорности государевой воле. Не использовались, замечает автор, и понятия «реформы» и «преобразования», что, впрочем, логично, учитывая их отсутствие в языке эпохи: эти слова не фиксируются даже словарями конца XVIII столетия<sup>3</sup>. Осознанные перемены в управлении если кем-то и продвигались на Урале и в Сибири, то исключительно представителями горного ведомства.

Однако и сами петровские реформы – рубеж, по словам Е.В. Анисимова, скорее «историографический» (с. 292). Именно поэтому так важна для понимания феномена российских реформ статья О.А. Курбатова «Западноевропейские военно-теоретические модели XVII в. и их место в реформировании русской армии». Историк демонстрирует, посредством каких институтов и сценариев допетровская Россия встраивалась в общеевропейскую модель раннемодерной государственности. Уже в начале XVII в. Московское государство было затронуто общеевропейской революцией в военном деле, а создание в 1649 г. училища для подготовки офицеров, просуществовавшего пять лет (срок немалый для того времени, несмотря на кажущуюся «стабильность» государства и его элит) – факт, который нельзя не принять во внимание, особенно на фоне распространения в Европе феномена «рыцарских академий» в XVII в. С другой стороны, как точно замечает Курбатов, говоря о заимствованиях и трансфере моделей, историки привычно смотрят на реформы глазами правительства (с. 296). Между тем именно общественная реакция на перемены (или её отсутствие), именно степень осознания обществом происходящего позволяют оценивать глубину и итоги реформ. В статье Курбатова «общество» уже весьма заметно и отнюдь не является «страдательным» элементом: служилые дворяне не хотят, чтобы ими командовали некрещёные иноземцы, получающие к тому же жалованье из казны, и пишут царю челобитные. Чтобы создать посредников между иностранными полковниками и рядовыми, правительство и открывало для выходцев из дворян офицерское училище. Наконец, на военные нововведения реагирует ещё один сегмент общества – «консерваторы»-церковники, для которых важны не победы (их одерживают «с Божьей помощью»), а благочестие. И там, где сходятся эти три тенденции – очевидных невооружённым глазом нововведений, недовольства общества и реакции Церкви, – объёмно предстаёт сам феномен реформ. При этом конфессиональный дискурс оказывается растворен в общественном, сливая воедино светскую и церковную сферы и делая их временами неразличимыми. Важно, однако, что в России XVII в., как видно из статьи Курбатова, сопротивление реформе в светской сфере всё же было не лишено рационалистических черт: авторы челобитных царю пеклись в том числе и о затратах казны на жалованье иностранцам, указывая, что «своим» воеводам из поместных дворян можно не платить вовсе.

Эти выводы созвучны наблюдениям О.Е. Кошелевой и Е.Н. Наседкиной (статья «Феномен реформ XVII столетия в России и их интерпретация в XVIII в.») о расхождении дискурса о «новизне» и законодательной практики в XVII в., вторая половина которого насыщена новшествами и пестрит именами «проектёров» (с. 180). В следующем столетии реформы предыдущего

<sup>3</sup> См.: Словарь Академии Российской. Т. IV. М–Р. СПб., 1793; Т. V. Р–Т. СПб., 1794.

никоим образом не отвергаются, а становятся частью повседневной практики органов управления. Если прежде новизна оправдывалась в особых случаях или конфликтных ситуациях таких, как отмена местничества, то при Петре произошла сознательная замена старых порядков на новые, и объяснение последних «пользой» (заметим, ключевым для петровских реформ словом) стало обычным делом (с. 184).

Вместе с тем отказ от «старины» на словах оборачивался приспособлением к традиционному укладу на деле. В результате рождались причудливые формы, неизвестные в тех государствах, откуда Пётр их заимствовал. Так, Д.О. Серов в статье «“Быть по маниру шведскому...”»: сценарии заимствования иностранных правовых институтов в ходе проведения административной и судебной реформ Петра I» приводит пример, когда под «иностранным» названием Юстиц-коллегии в России появился невиданный нигде орган судебного управления. Одновременно прокуратура наделялась надзорными полномочиями, но лишилась функций уголовного преследования, которыми она была наделена в стране своего «происхождения» – Франции (с. 266). Столь «вольное» обращение с прототипами явилось результатом способа заимствования: в этом случае оно стало итогом поверхностных наблюдений петровских приближённых, не имевших специальной подготовки и, прямо скажем, не очень компетентных в «рациональном» государственном управлении.

Иное дело – законопроекты, возникавшие в результате синтеза российской и шведской систем законодательства или даже компиляции различных законодательных актов (например, «Артикул воинский» и «Краткое изображение процессов или судебных тяжб»). Как совершенно точно замечает Я.И. Проккопенко, автор статьи «“Политический инженер” Генрих фон Фик и феномен реформ Петра I», ход той или иной реформы зависел от опыта и квалификации иностранных специалистов и интерпретации ими фактов и явлений «заграничной действительности» (с. 324–325). Выходцы из новоприсоединённых к России балтийских провинций, получившие образование в германских и шведских университетах, не только писали прожекты, но и осуществляли их. Герой статьи Г. Фик тайно вывез из Швеции копии около тысячи документов, ставших основой для штатов и регламентов коллегий и самого Генерального регламента (с. 327). При этом шведская практика управления, положенная в основу петровской реформы администрации, возникла в результате целенаправленно проводившейся в Швеции XVII в. политики, риторически обставленной как восстановление античной модели (с. 214–215).

Важно отметить, что негативная оценка нововведений, как чего-то «инострannого», о которой, в частности, пишет в своей статье Курбатов, была характерна не только для Московского государства, пронизанного идеей «последнего рубежа» и «чистоты веры». Те же тенденции в XVII в. проявились и в германских землях, как показывает статья А.В. Лазаревой «Новые законы для старого порядка: “реформы нравов” в немецких княжествах в годы Тридцатилетней войны». Частью «реформ нравов» здесь стали «законы об одежде», которые, помимо экономической подоплеки, имели целью сохранить средневековый сословный порядок, готовый обрушиться под натиском военного разорения. Риторическое содержание этих реформ – апелляция к «традиции» и противопоставление «иностранных» костюмов и манер «исконно немецким».

Если в своих административных и военных преобразованиях Пётр обращался к опыту протестантских государств севера Европы, то во взаимоотношениях

с Церковью он успешно использовал традиционную практику XVI–XVII вв., т.е. тех времён, когда государь патронировал Церковь как титульный собственник: в статье П.В. Седова «“Всё де ныне государево”: традиции и новации в церковной реформе Петра I» убедительно показано, как Пётр, применяя этот опыт в годы Северной войны, фактически лишил Церковь большей части её имущества. Вполне средневековая практика была поставлена на службу задачам Нового времени, предполагавшим лишение Церкви самостоятельности – как судебной, так и экономической.

Зачастую, опираясь на традиционные властные практики или используя опыт уже отчасти реформированного войска, Пётр прибегал к принципиально новой риторике и идеологии. Однако в некоторых случаях возможно и явление обратного порядка, когда проводимые реформы имеют своей целью спасение прежней системы. Эту черту реформ во Франции середины XVIII в. отмечает Д.Н. Копелев в дискуссии по докладу М.В. Эберхардт «Канцлер Мопу и генеральный контролёр финансов Тюрго: чиновники и реформаторы Франции Старого порядка» (с. 359). Отметим в этой связи, что и в современном языке само понятие «реформы» не отличается однозначностью: так называют и попытки сохранить тот или иной социальный порядок, т.е. «улучшить» отдельные его стороны, и попытки коренным образом изменить его, как это сделал Пётр.

И всё же именно XVIII в. стал эпохой, когда вырабатывался новый язык для описания перемен и реформ. Тому, как идею преобразования общества воспринимали люди позднего Средневековья и раннего Нового времени и, соответственно, как она отражалась в языке, в частности, в словарях и энциклопедиях XVIII в., раскрывают в своих статьях Л.А. Пименова («Реформы и реформаторы во Франции в век Просвещения») и Ф. Минар («“Реформа” во Франции и Англии в XVIII в.: значение слова и его судьба»). Оказывается, что вплоть до конца Нового времени сохранялось представление о реформе как о возвращении утраченной нормы (формы). Л.А. Пименова указывает на три основных значения этого понятия во Франции XVIII в., причём привычное нам значение «улучшения» оказывается самым редким (с. 63). Парадоксально при этом, что на всём протяжении XVIII столетия Франция непрерывно реформировалась: впечатляет приводимый автором длинный список преобразований финансов и экономики, армии, центральной и местной администрации, судов, Церкви. В конце концов, несмотря на бесконечные преобразования (а может быть, благодаря им), прежний государственный порядок был сметён революцией. И именно революция стала рубежом, обозначившим перелом в семантике понятия «реформа»: произошёл окончательный отказ от её средневекового, берущего начало в аристотелевской картине мира значения («возвращение к изначальной гармонии») и замена его новым, привычным для языка Нового времени. Ещё одним следствием Французской революции стал приход в политическую литературу понимания реформ как чего-то противоположного «революции». Ещё в 1770–1780-х гг. в немецком языке слово «реформы» сопоставлялось со словом «революция»: первый министр герцога Гессен-Дармштадтского, юрист и политический писатель Ф.К. фон Мозер описывал процесс реформ как «длящиеся во времени улучшения целого, самые глубокие преобразования... и, если это слово кажется недостаточно сильным, революция»<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Wolgast E. Reform, Reformation // Brunner O., Conze W., Koselleck R. Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland: Bd. 5: Pro-Soz. Klett-Cotta, 1984. S. 341.

Начало эпохи революций, продолжавшейся почти два века, и одновременно конец эпохи «реформ» были обозначены крушением «старого порядка» во Франции в 1789 г. В связи с этим любопытно, как показывает в своей статье Ф. Минар, что провал многочисленных попыток преобразований во Франции при Старом порядке (с. 224) вытесняет само слово «реформа» из повестки дня правительственного лагеря. С требованием реформ (прежде всего политических) накануне революции выступала уже оппозиция. Это интересный механизм, заслуживающий более подробного рассмотрения: возможно, именно этот переход инициативы в деле преобразований в руки противников существующего порядка и стал причиной того, что череда реформ длиной в столетие завершилась революцией. Подтверждение тому – своего рода «компромиссный» вариант Англии, сумевшей избежать потрясений: термин «реформы» широко употреблялся здесь в публичной сфере, а политические дискуссии имели место и в парламенте, и за его пределами. Под воздействием американской революции с её экономическими последствиями, беспокойств в Ирландии, а затем и французской революции в Англии в последней четверти XVIII в. усилилась дискуссия о необходимости реформ, а требование изменений концентрировалось прежде всего на реформе парламента с целью усиления представительства народа<sup>5</sup>.

Именно здесь лежит ответ на вполне закономерное замечание Д.Н. Копелева о том, что в историографии реформы сводятся к деятельности законодателя, а исследователи, как правило, становятся на точку зрения бюрократии и ограничивают себя соответствующими источниками (с. 358). Логично, что на этом фоне «голоса простых людей» звучат лишь эпизодически: у «простых людей» не было иного инструмента высказывания, кроме бунта и восстания (о чём, в частности, пишут в своей статье «Проект европеизации внешнего облика подданных в России первой половины XVIII в.: замысел и реализация» Е.В. Акельев и Е.Н. Трефилов), а «публичная сфера» в раннее Новое время ещё только оформлялась (в России этот процесс оформления стартовал лишь во второй половине XVIII в.).

В заключение нужно сказать, что завершившаяся в прошлом столетии эпоха революций вроде бы сменилась новой эпохой реформ, но после мировых войн принципиально иными стали их географический охват и технологический уровень. Преобразования конца XX – начала XXI в. вновь вырабатывают свой язык, свои законы, заново формируют реакции общества. Однако реформы раннего Нового времени и в этом контексте остаются некоей моделью, позволяющей увидеть закономерности и проследить далеко не прямые пути процесса модернизации.

### ***Дмитрий Лисейцев: Одним росчерком пера: Россия на пути к современным реформам***

Рассматриваемый сборник статей содержит много интересных материалов об истории реформ и реформаторства в России и странах Европы XVI–XVIII вв. Однако ценность издания далеко не исчерпывается его фактологическим богатством. Не менее важно то, что опубликованные статьи, в совокупности приобретая компаративистское звучание, выносят на повестку дня ряд важных

---

<sup>5</sup> Ibid.